

Мост

Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, по ту сторону – руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды моего сюртука болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом.

Это случилось как-то под вечер – был ли то первый, был ли то тысячный вечер, не знаю: мои мысли шли всегда беспорядочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал глуше, и тут я услышал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто тебе доверился. Неверность его походки смягчи незаметно, но, если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как некий горный бог, швырни его на ту сторону.

Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука. Он погрузил наконечник в мои взъерошенные волосы и долго не вынимал его оттуда, по-видимому дико озираясь по сторонам. А потом – я как раз уносился за ним в мечтах за горы и доли – он прыгнул обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой боли, в полном неведении. Кто это был? Ребенок? Видение? Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже рухнул. Я рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды.

Сосед

Мое дело целиком лежит на моих плечах. Две барышни с пишущими машинками и конторскими книгами в передней, моя комната с письменным столом, денежным ящиком, столом для совещаний, мягким креслом и телефоном – вот весь мой аппарат. Его так легко обозреть, им так легко управлять. Я совсем молод, и дела у меня сами идут. Я не жалею, я не жалею.

С нового года один молодой человек без раздумий снял пустующую соседнюю квартирку, со съемом которой я, растяпа, так долго медлил. Тоже комната с передней, но, кроме того, и кухня. Комната и передняя мне не помещали бы, обе мои барышни иногда уже чувствовали чрезмерную нагрузку, – но на что мне нужна была кухня? Из-за этой заковычки я и упустил квартиру. Теперь там расположился этот молодой человек. Гаррас его фамилия. На двери табличка: «Гаррас, контора». Я навел справки, мне сказали, что это дело подобное моему. От предоставления ему кредита не то чтобы предостерегали, ведь речь шла о молодом, растущем человеке, у которого, возможно, есть будущее, однако не то чтобы и советовали предоставлять ему кредит, ибо в данный момент состояния, судя по всему, нет.

Иногда встречаю Гарраса на лестнице, по-видимому, он всегда чрезвычайно торопится, он буквально прощмыгивает мимо меня. Я его еще так и не разглядел хорошенько, ключ от конторы у него уже наготове в руке. Он мгновенно открывает дверь. Он улепетывает как хвост крысы, и я снова стою перед табличкой «Гаррас, контора», хотя читал ее уже куда чаще, чем она того заслуживает.

Ах, эти убого тонкие стены, предающие человека, честно трудящегося, а нечестного укрывающие. Мой телефон висит на стене, которая отделяет меня от соседа. Однако я отмечаю это лишь как особенно иронический факт. Даже если бы он висел на противоположной стене, в соседней квартире было бы все слышно. Я отучился называть по телефону имена клиентов. Но не требуется, разумеется, большой хитрости, чтобы угадывать эти имена по характерным, но неизбежным поворотам разговора... Иногда я от беспокойства пляшу на цыпочках с наушником вокруг аппарата и все-таки не могу предотвратить разглашения тайн.

Конечно, из-за этого мои деловые решения становятся неуверенными, мой голос нетвердым. Что делает Гаррас, когда я говорю по телефону? Если бы я захотел сильно преувеличить – а это часто приходится делать, чтобы обрести ясность, – я мог бы сказать: Гаррасу телефон не нужен, он пользуется моим, он придвинул к стенке свой диванчик и слушает, а я, когда раздается звонок, должен бежать к телефону, выслушивать желания клиента, принимать важные решения, истово уговаривать – но тем самым прежде всего поневоле давать отчет Гаррасу через стенку.

Может быть, он даже не дожидается конца разговора, а поднимается после тех слов, которые достаточно прояснили ему дело, мечется по своему обыкновению по городу и, прежде чем я повешу трубку, уже, может быть, начинает действовать против меня.

Воззвание

В нашем доме, в этом чудовищном доме в предместье, густонаселенной громадине, проросшей неистребимыми средневековыми руинами, сегодня, туманным ледяным зимним утром, было распространено следующее воззвание:

«Всем моим соседям по дому.

У меня есть пять детских ружей. Они висят у меня в шкафу, на каждом крючке по одному. Первое принадлежит мне, заявку на другие может подать кто пожелает. Если заявок окажется больше чем четыре, лишние должны будут принести свои собственные ружья и сложить их в моем шкафу. Ибо нужно единообразию, без единообразия мы вперед не продвинемся. Кстати сказать, все мои ружья ни для чего прочего не пригодны, механизм испорчен, затычка оторвана, только курки еще щелкают. Нетрудно будет, значит, добыть, если понадобится, добавочные ружья. Но, в сущности, на первое время мне подойдут и люди без ружей. В решающий миг мы, обладающие ружьями, поместим невооруженных в середине. Эта тактика оправдала себя в войне первых американских фермеров против индейцев, почему же ей не оправдать себя и здесь, ведь обстоятельства сходны. Можно, значит, на какой-то срок вообще отказаться от ружей, и даже эти пять ружей нужны не обязательно, но раз уж они налицо, их следует применить. Если же четверо других не захотят носить их, то пусть и не носят. Тогда я один, как вождь, буду носить ружье. Но у нас не должно быть вождя, поэтому я свое ружье сломаю или спрячу».

Это было первое воззвание. В нашем доме ни у кого нет ни времени, ни охоты читать воззвание, а тем более обдумывать. Вскоре мелкие клочки бумаги плавали в потоке грязи, который идет с чердака, получает пополнение из всех коридоров, стекает по лестнице и там борется с встречным потоком, накатывающим снизу. Но через неделю появилось второе воззвание:

«Соседи по дому!

Никто до сих пор ко мне не являлся. Я непрерывно, отлучаясь лишь из-за необходимости зарабатывать на жизнь, находился дома, а в мое отсутствие, во время которого дверь моей комнаты всегда оставалась открытой, на столе у меня лежал листок, где мог записаться каждый желающий. Никто этого не сделал».

Новые лампы

Вчера я впервые был в канцеляриях дирекции. Наша ночная смена выбрала меня доверенным лицом, и, поскольку конструкция и заправка наших ламп оставляет желать лучшего, я должен был добиться там устранения этого неудобства. Мне показали кабинет, куда следует обращаться, я постучался и вошел. Хрупкий молодой человек, очень бледный, улыбнулся мне из-за большого письменного стола. Он долго, слишком долго кивал головой. Я не знал, сесть ли мне, там стояло второе кресло, но я подумал, что, может быть, не следует мне сразу садиться в свой первый приход, и потому изложил дело стоя. Но как раз этой скромностью я, по-видимому, поставил молодого человека в затруднительное положение, ибо он должен был поворачивать лицо ко мне и вверх, если не хотел переставить свое кресло, а этого он не хотел. С другой стороны, при всем желании ему не удавалось повернуть шею полностью, и потому во время моего рассказа он на полпути поднимал глаза наискось к потолку, а я непроизвольно тоже. Когда я кончил, он медленно встал, хлопнул меня по плечу, сказал: «Так-так, так-так», – и подтолкнул меня в соседнюю комнату, где какой-то господин с лохматой бородой явно ждал нас, ибо на его столе не было и следа какой-нибудь работы, а открытая стеклянная дверь вела в садик со множеством цветов и кустов. Маленькой, в несколько слов информации, которую молодой человек прошептал ему, хватило этому господину, чтобы понять наши многочисленные жалобы. Он тотчас встал и сказал: «Итак, дорогой...» – он запнулся, я подумал, что он хочет узнать мою фамилию, и уже открыл рот, чтобы представиться повторно, но он прервал меня: «Да, да, ладно, ладно, я тебя прекрасно знаю... итак, твоя или ваша просьба, конечно, справедлива, и я, и господа из дирекции, конечно же, понимаем это. Благо людей, поверь мне, важнее нам, чем благо производства. Да и как же иначе? Производство можно всегда наладить заново, дело только за деньгами, к черту деньги, а если человек погибнет, то погибнет именно человек, остаются вдова, дети. Ах, Боже мой! Поэтому любое предложение ввести новое предохранительное устройство, новое облегчение, новое приспособление, новые удобства мы всячески приветствуем. Кто его вносит, тот наш человек. Ты, значит, оставишь нам здесь свои заявки, мы в них разберемся, если можно будет внедрить заодно еще какое-нибудь блестящее новшество, мы, конечно, не преминем это сделать, и как только все будет готово, вы получите новые лампы. А своим там внизу скажи: пока мы не превратим ваши штольни в салоны, мы здесь не успокоимся, и если вы не начнете наконец погибать в лакированных башмаках, то не успокоимся вообще. Засим всех благ!»

Железнодорожные пассажиры

Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудища еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе. «Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» не спрашивают в этих местах.

Обыкновенная история

Обыкновенная история: вынести ее – обыкновенный героизм. А. должен заключить с Б. важную сделку. Он отправляется для предварительного собеседования в Г., проделывает путь туда и обратно за десять минут в один конец и хвастается дома этой особенной скоростью. На следующий день он снова отправляется в Г., на сей раз для окончательного заключения сделки. Поскольку на это потребуется предположительно много часов, А. отправляется ранним утром. Хотя все побочные обстоятельства, по крайней мере по мнению А., совершенно таковы же, как накануне, на дорогу в Г. у него уходит на этот раз десять часов. Когда он, усталый, прибывает туда вечером, ему говорят, что Б., рассердившись из-за отсутствия А., полчаса назад отправился в свою деревню и они, собственно, должны были встретиться на дороге. А. советуют подождать, но А., в страхе за сделку, тотчас же уходит и спешит домой.

На сей раз он проделывает обычный путь, не обращая на это особого внимания, прямо-таки в одно мгновение. Дома он узнает, что Б. ведь приходил уже рано утром – сразу после ухода А.; он даже встретил А. в дверях, напомнил ему о сделке, но А. сказал, что ему сейчас некогда, что он сейчас куда-то спешит.

Но несмотря на это непонятное поведение А., Б. остался здесь, чтобы подождать А. Он, правда, уже не раз спрашивал, не вернулся ли А., но еще находился наверху, в комнате А. Радуюсь, что сможет наконец поговорить с Б. и все объяснить ему, А. бежит вверх по лестнице. Он уже почти наверху, как вдруг спотыкается, растягивает себе сухожилие и, от боли теряя сознание, не в силах даже кричать, лишь скуля в темноте, он слышит, как Б. – непонятно, вдалеке или совсем рядом с ним – с яростным топотом сбегает по лестнице и окончательно исчезает.

Правда о Санчо Пансе

Занимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта – а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса – никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности хладнокровно сопровождал Дон Кихота в его странствиях, до конца его дней находя в этом увлекательное и полезное занятие.

Молчание сирен

Доказательство того, что и недостаточные, даже ребяческие средства могут послужить для спасения.

Чтобы уберечься от сирен, Одиссей заткнул себе воском уши и велел приковать себя к мачте. Подобным образом могли, конечно, испокон веков поступать все путешественники, кроме тех, кого сирены заманивали уже издалека, но во всем мире было известно, что это нисколько не помогает. Пение сирен пронизывало все, и страсть соблазненных смахнула бы и не такие помехи, как цепи и мачта. Но об этом Одиссей не думал, хотя он, может быть, и слышал об этом. Он целиком положился на горсть воска и оковы и, невинно радуясь своему ухищрению, плыл сиренам навстречу.

Но у сирен есть оружие более страшное, чем пение, а именно – молчание. Хотя этого не случилось, но можно представить себе, что от их пения кто-то и спасся, но уж от их молчания наверняка не спасся никто. Чувству, что ты победил их собственными силами, и, как следствие этого, безудержной заносчивости не может сопротивляться ничто на земле.

И действительно, когда Одиссей приближался, эти могучие певицы не пели, то ли они полагали, что такого противника можно одолеть только молчанием, то ли выражение блаженства на лице Одиссея, который ни о чем другом, кроме цепей и воска, не думал, заставило их забыть о всяком пении.

А Одиссей, если можно так выразиться, не слышал их молчания, он полагал, что они поют и только слух его защищен. Сперва он увидел было повороты их шей, их глубокое дыхание, их полные слез глаза, их полуоткрытые рты, но решил, что все это связано с ариями, которые неслышно звучат вокруг него. А вскоре все это отскользнуло от его направленного вдаль взгляда, сирены поистине исчезли из-за его решительности, и как раз тогда, когда он был ближе всего к ним, он уже не помнил о них.

Они же – прекраснее, чем когда-либо, – вытягивались и вертелись, распускали по ветру свои страшные волосы и растопыривали выпущенные когти на скалах. Им уже не хотелось соблазнять, им хотелось только как можно дольше ловить отблеск больших глаз Одиссея.

Если бы у сирен было сознание, они были бы тогда уничтожены. А так они остались, только Одиссей ушел от них.

Есть, впрочем, одно добавление к преданию. Одиссей, говорят, был так хитроумен, так изворотлив, что сама богиня судьбы не могла проникнуть в его душу. Может быть, он, хотя человеческим умом этого не понять, действительно заметил, что сирены молчали, и только до некоторой степени корил их и богов за то мнимое пение.

Содружество подлецов

Было некогда содружество подлецов, то есть это были не подлецы, а обыкновенные люди. Они всегда держались вместе. Если, например, кто-то из них подловатым образом делал несчастным кого-то постороннего, не принадлежащего к их ассоциации, – то есть опять-таки ничего подлого тут не было, все делалось как обычно, как принято делать – и затем исповедовался перед содружеством, они это разбирали, выносили об этом суждение, налагали взыскание, прощали и так далее. Зла никому не желали, интересы отдельных лиц и ассоциации соблюдались строго, и исповедующемуся подыгрывали: «Что? Из-за этого ты огорчаешься? Ты же сделал то, что само собой разумелось, поступил так, как должен был поступить. Все другое было бы непонятно. Ты просто перевозбужден. Приди в себя!» Так они всегда держались вместе, даже после смерти они не выходили из содружества, а хороводом возносились на небо. В общем, полет их являл картину чистой детской невинности. Но поскольку перед небом все разбивается на свои составные части, они падали поистине каменными глыбами.

Прометей

О Прометее существует четыре предания. По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень, по мере того как она росла.

По второму, истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли – боги забыли, орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому.

Возвращение домой

Я возвратился, я прошел через сени и оглядываюсь вокруг. Это старый двор моего отца. Лужа посередине. Старая, негодная утварь, нагроможденная как попало, закрывает путь к лестнице на чердак. Кошка притаилась на перилах. Рваная тряпка, когда-то для забавы намотанная на палку, поднимается на ветру. Я прибыл. Кто встретит меня? Кто ждет за дверью кухни? Дым идет из трубы, варят кофе для ужина. Тебе укромно, ты чувствуешь, что ты дома? Я не знаю, я очень неуверен. Это дом моего отца, но все предметы холодно соседствуют друг с другом, словно каждый занят своими делами, часть которых я забыл, а часть никогда не знал. Какая им от меня польза, что я для них, даже если я и сын своего отца, старого хуторянина? И я не осмеливаюсь постучать в дверь кухни, я только издали прислушиваюсь, так, чтобы меня не могли застать врасплох за этим занятием. И поскольку прислушиваюсь я издали, то и не могу ничего расслышать, лишь легкий бой часов слышу я – или, может быть, только думаю, что слышу, – из дней детства. Что еще происходит в кухне, это тайна сидящих там, которую они хранят от меня. Чем дольше медлишь у двери, тем более чужим становишься. А если бы сейчас кто-то открыл дверь и спросил у меня что-нибудь? Не оказался ли бы я сам подобен тому, кто хочет сохранить свою тайну?

Городской герб

При строительстве вавилонской башни все было сначала более или менее в порядке; порядок был даже, пожалуй, слишком большой, слишком уж много думали о дорожных указателях, переводчиках, жилье для рабочих и путях сообщения, словно впереди века спокойной работы. Тогда господствовало даже мнение, что строить нужно как можно медленнее; мнение это вовсе не нужно было так уж преувеличивать, чтобы вообще отказаться от закладки фундамента. Аргументация была такая: самое главное во всем этом предприятии – мысль построить башню, которая достанет до неба. По сравнению с этой мыслью все прочее второстепенно. Мысль эта, во всем своем величии явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока будут на свете люди, будет и сильное желание достроить башню. В этом смысле, стало быть, не надо беспокоиться о будущем, напротив, знания человечества растут, зодчество делало успехи и будет делать успехи и дальше, работу, на которую нам нужен год, через сто лет, может быть, сделают за полгода, к тому же лучше, прочнее. Зачем же сегодня выбиваться из сил? Это имело бы смысл, только если бы можно было надеяться построить башню за время одного поколения. Но этого никоим образом нельзя было ожидать. Скорее можно было предположить, что следующее поколение с его более совершенным знанием найдет работу предыдущего поколения скверной и снесет построенное, чтобы начать заново. Такие мысли сковывали силы, и больше, чем о строительстве башни, заботились о строительстве города для рабочих. Каждое землячество хотело иметь самое лучшее жилье, из-за этого возникали споры, которые перерастали в кровавые стычки. Эти стычки не прекращались; для руководителей они были новым доводом в пользу того, что из-за отсутствия необходимой сосредоточенности башню следует строить очень медленно, а еще лучше – лишь после заключения всеобщего мира. Однако время проводили не только в стычках, в перерывах город украшали, чем, впрочем, вызывали новую зависть и новые стычки. Так прошло время первого поколения, но и все следующие не были иными, только росло мастерство, а с ним и воинственность. Вдобавок уже второе или третье поколение поняло бессмысленность строительства такой башни, но все были уже слишком крепко связаны друг с другом, чтобы покинуть город.

Все возникшие в этом городе предания и песни полны тоски о том предсказанном дне, когда город, пятью следующими через короткие промежутки ударами, разрушит исполинский кулак. Поэтому-то кулак и изображен на гербе города.

Содружество

Мы пятеро друзей, мы вышли однажды друг за дружкой из одного дома, сперва вышел один и стал у дверей, затем вышел, или, скорее, выскользнул из дверей с легкостью шарика ртути другой и встал неподалеку от первого, затем третий, затем четвертый, затем пятый. Наконец все мы выстроились в ряд. Люди обращали на нас внимание, показывали на нас и говорили: эти пятеро вышли сейчас из этого дома. С тех пор мы живем вместе, у нас была бы мирная жизнь, если бы то и дело не вмешивался шестой. Он не делает нам ничего худого, но он нам в тягость, это достаточно скверно; зачем он навязывается, если с ним не хотят иметь дело? Мы его не знаем и не хотим принимать его к себе. Мы, пятеро, тоже, правда, не знали друг друга, да и теперь, если угодно, не знаем, но то, что у нас пятерых допускается и терпится, это у шестого не допускается и не терпится. Кроме того, нас пять, и мы не хотим, чтобы нас было шесть. И какой вообще смысл быть непрестанно вместе, для нас, пятерых, в этом тоже нет смысла, но мы уже все равно вместе и вместе останемся, а новых объединений мы не хотим – как раз на основании своего опыта. Но как все это растолковать шестому, долгие объяснения означали бы чуть ли не принятие в наш круг, мы предпочитаем ничего не объяснять и просто не принимать его. Сколько бы он ни дулся, мы выталкиваем его локтями, но сколько бы мы ни выталкивали его, он приходит опять.

Набор рекрутов

Набор рекрутов, который часто бывает нужен из-за непрекращающихся пограничных боев, происходит следующим образом:

Издается приказ, чтобы в определенный день в определенном квартале города все жители без разбора, мужчины, женщины, дети, оставались дома. Обычно лишь к полудню у входа в этот квартал, где уже с рассвета ждет отряд солдат, пехотинцы и конники, появляется молодой дворянин, который должен провести набор. Это молодой человек, тонкий, невысокого роста, слабый, небрежно одетый, с усталыми глазами, на него то и дело нападает беспокойство, как на больного озноб. Ни на кого не глядя, он делает знак плеткой, которая составляет все его снаряжение, к нему присоединяются несколько солдат, и он входит в первый дом. Солдат, знающий в лицо всех жителей этого квартала, зачитывает список живущих в доме. Обычно все на месте, они стоят, выстроившись в ряд в комнате, не сводя глаз с дворянина, словно они уже солдаты. Случается, однако, что кто-то – всегда это только мужчины – отсутствует. Тогда никто не отваживается найти отговорку или как-то солгать, все молчат, опускают глаза, они едва выносят тяжесть приказа, который нарушили в этом доме, но немое присутствие дворянина держит всех на местах. Дворянин делает знак, это даже не кивок, это можно прочесть только по глазам, и два солдата начинают искать отсутствующего. Это не требует никаких усилий. Никогда он не бывает вне дома, никогда у него нет намерения действительно уклониться от военной службы, не явился он только от страха, но это вовсе не страх перед службой, это вообще робость перед выходом на люди, приказ для него поистине слишком велик, устрашающе велик, ему не по силам явиться самому. Но из-за этого он не убегает, он только прячется, а услышав, что дворянин в доме, сам выбирается из укрытия, пробирается к двери комнаты, и его тут же хватают выходящие оттуда солдаты. Его подводят к дворянину, который берет плетку обеими руками – он очень слаб, одной рукой ему не справиться – и сечет провинившегося. Сильной боли это не причиняет, затем он – наполовину из-за усталости, наполовину из отвращения – бросает плетку, тот, кого секут, должен поднять ее и подать ему. Лишь теперь он может стать в ряд с остальными; впрочем, почти наверняка его не признают годным. Бывает, и это случается чаще, что является больше людей, чем значится в списке. Приходит, например, посторонняя девица и разглядывает дворянина, она нездешняя, может быть, из провинции, ее приманил сюда набор рекрутов, многие женщины не могут устоять перед соблазном такого чужого набора – домашний имеет совсем другое значение. И любопытно, в этом не видят ничего позорного, если женщина поддается такому соблазну, напротив, по мнению некоторых, это нечто такое, через что женщинам надо пройти, это дань, которую они платят своему полу. И протекает все всегда по одному образцу. Девушка или женщина узнает, что где-то, может быть, очень далеко, проходит набор, она просит у своих родных разрешения поехать туда, ей разрешают, в этом нельзя отказывать, она надевает на себя самое лучшее из своей одежды, она веселее, чем обычно, притом спокойна и приветлива, независимо оттого, какого она вообще нрава, и при всем спокойствии, при всей приветливости неприступна, словно какая-то чужеземка, которая едет на родину и больше ни о чем думать не хочет. В семье, где ждут набора, ее принимают совершенно иначе, чем обыкновенную гостью, все ублажают ее, она должна обойти все комнаты дома, высунуться из всех окон, а если она положит руку кому-нибудь на голову, то это больше, чем благословение отца. Когда семья готовится к набору, приезжая получает лучшее место, место у двери, где ее лучше всего увидит дворянин и она лучше всего увидит его. Но в такой чести она только до появления дворянина, с этой минуты она прямо-таки увядает. Он так же не смотрит на нее, как на других, а если он и направит взгляд на кого-нибудь, тот чувствует, что на него не смотрят. Этого она не ожидала, вернее, она, конечно, ожидала это, ведь

иначе не может быть, но и не ожидание противоположного приглаго ее сюда, а просто что-то такое, что сейчас-то уж кончилось. Стыд она испытывает в такой мере, в какой его наши женщины вообще-то, может быть, никогда не испытывают, только теперь, собственно, она замечает, что влезла в чужой набор, и когда солдат прочитывает список, где ее фамилии нет, и на миг наступает тишина, она, дрожа и ежась, выбегает за дверь и получает еще от солдата тумак вдогонку.

Если сверх комплекта оказывается мужчина, он ничего другого не желает, как тоже быть забранным в рекруты, хотя он и не из этого дома. И это тоже дело безнадежное, никогда таких сверхкомплектных не брали, и никогда ничего подобного не будет.

Экзамен

Я слуга, но для меня не находится работы. Я боязлив и не суюсь вперед, не суюсь даже в один ряд с другими, но это только одна причина моей незанятости, возможно также, что к моей незанятости это вообще не имеет ни малейшего отношения, главное, во всяком случае, то, что меня не зовут служить, других зовут, хотя они добивались этого не больше, чем я, или даже вообще не испытывали желания, чтобы их позвали, а у меня, по крайней мере иногда, это желание очень сильно.

Вот я и лежу на нарах в людской, гляжу на брус потолка, засыпаю, просыпаюсь и вновь засыпаю. Иногда я хожу в трактир напротив, где подают кислое пиво, иногда я от отвращения выливаю его из стакана, но потом пью опять. Я люблю там сидеть, потому что через закрытое оконце можно без риска быть обнаруженным глядеть на окна нашего дома. Там ведь мало что видят, сюда, на улицу, выходят, думаю, только окна коридоров, к тому же не тех коридоров, что ведут в господские покои. Возможно, что я и ошибаюсь, кто-то однажды, хотя я его не спрашивал, это сказал, и общее впечатление от этой стороны дома подтверждает такую догадку. Лишь изредка открывают здесь окна, и когда это случается, то делает это слуга, который затем часто, бывает, высовывается поглядеть вниз. Там, значит, коридоры, где его не могут застичь. Кстати сказать, этих слуг я не знаю, слуги, постоянно занятые наверху, спят в другом месте, не в моей комнате.

Однажды, когда я пришел в трактир, на моем наблюдательном месте уже сидел посетитель. Я не осмелился рассмотреть его и хотел сразу же в дверях повернуться и уйти. Но он подозвал меня, и оказалось, что он тоже слуга, которого я уже когда-то где-то видел, но до сих пор мне не доводилось говорить с ним.

– Почему убегаешь? Садись и пей! Я заплачу.

И я сел. Он о чем-то спрашивал меня, но я не мог ответить, я даже его вопросов не понимал. Поэтому я сказал:

– Теперь ты, наверное, жалеешь, что пригласил меня, так я уйду, – и уже стал подниматься. Но он протянул через стол руку и прижал меня к стулу.

– Остайся, – сказал он, – это же был только экзамен. Тот, кто не может ответить на вопросы, экзамен выдержал.

Басенка

– Ах, – сказала мышь, – мир становится тесней с каждым днем. Сначала он был так широк, что мне делалось страшно, я бежала дальше и была счастлива, что наконец вижу вдали стены справа и слева, но эти длинные стены так спешат сойтись, что я уже в последней комнате, а там в углу стоит ловушка, куда я уйду.

– Тебе надо только изменить направление, – сказала кошка и съела ее.

Отъезд

Я велел вывести свою лошадь из конюшни. Слуга не понял меня. Я сам пошел в конюшню, оседлал свою лошадь и сел на нее. Вдали я услышал звуки трубы, я спросил его, что это значит. Он ничего не знал и ничего не слышал. У ворот он задержал меня и спросил:

– Куда ты поскачешь, господин?

– Не знаю, – сказал я, – только подальше отсюда, только подальше отсюда. Дальше и дальше, только так я могу достичь своей цели.

– Значит, ты знаешь свою цель? – спросил он.

– Да, – ответил я, – я же сказал: «подальше отсюда» – вот моя цель.

– У тебя нет с собой съестных припасов, – сказал он.

– Мне не нужно их, – сказал я, – путешествие мое такое долгое, что я умру с голода, если по пути ничего не достану. Никакие припасы мне не помогут. Это же, к счастью, поистине невероятное путешествие.

Защитники

Было очень неясно, есть ли у меня защитники, я не мог узнать ничего определенного на этот счет, все лица были непроницаемы, большинство тех, кто шел мне навстречу и кого я снова и снова встречал в коридорах, ходили на старых толстых женщинах, на них были большие, покрывающие все тело передники в синюю и белую полоску, они поглаживали себе животы и тяжело поворачивались. Я не мог даже узнать, находимся ли мы в здании суда. Кое-что говорило в пользу этого, многое – против. Если отбросить все мелочи, то больше всего напоминало мне суд гуденье, которое непрерывно слышалось вдалеке, нельзя было сказать, с какой стороны оно доносилось, оно так наполняло все комнаты, что можно было подумать, что оно идет отовсюду или – еще, пожалуй, вернее, – что как раз то место, где ты оказался, и есть место этого гуденья, но это, конечно, был обман слуха, ибо оно шло издалека. Эти коридоры, узкие, перекрытые простыми сводами, плавно поворачивающиеся, с высокими, скупо украшенными дверями, были, казалось, даже созданы для глубокой

тишины, это были коридоры музея или библиотеки. Но если это не был суд, почему я справлялся насчет защитника? Потому что я всегда искал защитника, везде он нужен, в суде нужда в нем даже меньше, чем где-либо, ибо суд выносит приговор, надо полагать, по закону. Если считать, что это делается несправедливо и опрометчиво, то ведь и жить невозможно, суду надо доверять, надо верить, что он подчиняется величественной воле закона, ибо это единственная его задача, а в самом законе уже заключены обвинение, защита и приговор, и самовольное человеческое вмешательство было бы тут кощунством. Но с составом преступления, за которое выносятся приговор, дело обстоит иначе, он определяется на основании сведений, собранных в разных местах, у родственников и посторонних, у друзей и врагов, в семье и у представителей общественности, в городе и в деревне, словом, везде. Тут крайне необходимо иметь защитников, множество защитников, лучших защитников, чтобы стояли вплотную живой стеной, ибо защитники по природе своей малоподвижны, а обвинители, эти хитрые лисы, эти проворные белки, эти невидимые мышки, проскальзывают через любые щелки, прощмыгивают между ногами защитников. Значит, гляди в оба! Поэтому я здесь, я собираю защитников. Но я еще ни одного не нашел, только эти старые женщины приходят и уходят то и дело; если бы я не был занят поисками, это меня усыпило бы. Я попал не туда, к сожалению, я не могу отделаться от впечатления, что я попал не туда. Мне следовало бы быть там, где сходятся разного рода люди, из разных мест, из всех сословий, всяких профессий, разного возраста, мне следовало бы иметь возможность осторожно выбрать из толпы нужных, расположенных, внимательных ко мне людей. Больше всего для этого подошла бы, может быть, большая ярмарка. Вместо этого я слоняюсь по этим коридорам, где видны лишь эти старухи, да и то в малом числе, и все время одни и те же, и даже этих немногих мне не удается, несмотря на их медлительность, задержать, они ускользают от меня, уплывают, как тучи, они целиком поглощены неведомыми делами. Почему же я вслепую вбегаю в какой-то дом, не читаю надписи над входом, сразу оказываюсь в коридорах, обосновываюсь здесь с таким упорством, что уже и не помню, чтобы я когда-либо стоял перед домом, когда-либо избегал по его лестницам? Но назад мне хода нет, такая потеря времени, такое признание, что я попал не туда, мне были бы невыносимы. Что? Среди этой короткой, торопливой, сопровождаемой нетерпеливым гуденьем жизни побежать по лестнице вниз? Это невозможно. Отмеренное тебе время так коротко, что, потеряв секунду, ты уже теряешь всю свою жизнь, ибо она не длиннее, она всегда длится лишь столько же, сколько то время, которое ты теряешь. Значит, если ты начал путь, то продолжай его, при всех обстоятельствах ты можешь только выиграть, ты ничем не рискуешь, может быть, ты в конце концов сломаешь себе шею, но если бы ты уже после первых шагов повернулся и побежал вниз по лестнице, ты, может быть, сломал бы себе шею уже в самом начале, и не «может быть», а несомненно. Значит, если ты ничего не найдешь здесь в коридорах, открывай двери, если ничего не найдешь за этими дверями, то ведь есть новые этажи, если ничего не найдешь наверху, лети выше по новым лестницам. Пока ты не перестанешь подниматься, ступеньки не прекратятся, они будут расти ввысь под твоими поднимающимися ногами.

Супружеская чета

Общее положение дел столь скверно, что иногда, выкраивая время, в конторе я сам беру сумку с образцами, чтобы лично навестить заказчиков. Среди прочего я уже давно собирался сходить к Н., с кем прежде находился в постоянной деловой связи, которая, однако, за последний год по неведомым мне причинам почти распалась. Для таких преткновений вовсе и не нужно существенных причин; при нынешних неустойчивых обстоятельствах дело часто решает какой-нибудь пустяк, чье-то настроение, и точно так же какой-нибудь пустяк, какое-то слово может все привести снова в порядок. Но проникнуть к Н. не совсем просто; он старый человек, в последнее время сильно прихварывает и, хотя он еще держит в своих руках все дела, сам в конторе почти не бывает; чтобы поговорить с ним, надо сходить к нему домой, а такой деловой поход стараешься отложить.

Но вчера вечером после шести я все-таки отправился в путь; время было, правда, не гостевое, но ведь смотреть на дело следовало не со светской, а с коммерческой стороны. Мне повезло. Н. был дома, он только что, как мне сказали в прихожей, вернулся с женой с прогулки и сейчас находился в комнате своего сына, который был нездоров и лежал в постели. Меня пригласили тоже пройти туда; сперва я заколебался, но потом желание поскорее закончить неприятный визит победило, и меня, в том виде, в каком я был, в пальто, шляпе и с сумкой с образцами в руке, провели через какую-то темную комнату в тускло освещенную, где собралась небольшая компания.

Инстинктивно, по-видимому, взгляд мой упал сперва на одного слишком хорошо мне знакомого агента торговой фирмы, который отчасти мой конкурент. Он уселся у самой постели больного, так, словно был врачом; могущественно восседал он в своем красивом, распахнутом, вспучившемся пальто; его нахальство бесподобно; что-то похожее думал, возможно, и больной, который, лежа с лихорадочным румянцем на щеках, на него иногда поглядывал. Он, кстати сказать, не так молод, сын Н., это человек моего возраста с короткой окладистой бородой, несколько неухоженной из-за болезни. Старик Н., рослый, широкоплечий, но из-за своего изнуряющего недуга изрядно, к моему удивлению, похудевший, согнувшийся и потерявший уверенность, еще стоял, как вошел, в шубе и что-то бормотал сыну. Жена его, маленькая и хрупкая, но крайне деятельная, хотя лишь постольку, поскольку это касалось его, — нас она почти не замечала — была занята сниманием с него шубы, что вследствие разницы в их росте доставляло некоторые затруднения, но в конце концов удалось. Может быть, впрочем, действительное затруднение состояло в том, что Н. был очень нетерпелив и все время беспокойно искал руками кресло, каковое жена, когда сняла с него шубу, быстро придвинула. Сама же взяла шубу, под которой почти скрылась, и унесла ее.

Теперь наконец, показалось мне, пришло мое время, вернее, не пришло и никогда, наверное, здесь не придет; если я вообще хотел еще что-то попробовать сделать, это должно было случиться сейчас, ибо я чувствовал, что условия для деловых переговоров могут здесь только ухудшаться и ухудшаться; а усаживаться здесь навсегда, как намеревался, по-видимому, поступить этот агент, было не в моем вкусе; с ним, кстати сказать, я совершенно не собирался считаться. Поэтому я сразу стал излагать свое дело, хоть и видел, что Н. хотелось сейчас поговорить с сыном. К сожалению, у меня есть привычка, когда я, говоря что-нибудь, разволнуюсь, — а это случилось очень скоро и случилось в этой комнате больного раньше обычного, — вставать с места и во время речи прохаживаться по комнате. Как ни удобна такая манера в собственной конторе, в чужой квартире это все же немного обременительно. Но я не мог совладать с собой, особенно без привычной папиросы. Что ж, у каждого свои дурные привычки, мои еще достохвальны по сравнению с привычками этого агента. Что можно сказать, например, по поводу того, что свою шляпу, которую держит на колене и медленно передвигает там взад-вперед, он иногда вдруг, совершенно неожиданно, надевает на голову? Он, правда, тут же снимает ее, словно это случилось нечаянно, но все-таки какое-то мгновение она находится у него на голове, и время от времени он повторяет это снова и снова. Такое поведение, право же, можно назвать непозволительным. Мне-то это не мешает, я прохаживаюсь, я целиком поглощен своими делами и не замечаю его, но ведь, наверно, есть люди, которых этот фокус со шляпой может совершенно вывести из себя. Впрочем, разгорячившись, я не обращаю внимания не только на эту помеху, но и вообще ни на кого, я, правда, вижу, что происходит, но, пока не кончил или пока не слышу

прямо-таки возражений, как бы не принятию этого к сведению. Так, например, я прекрасно видел, что Н. способен мало что воспринять; держа руки на подлокотниках, он неудобно вертелся так и сяк, смотрел не на меня, а бессмысленно-ищуще в пустоту, и лицо его казалось таким безучастным, словно ни звуки моей речи, ни даже чувство моего присутствия не проникали к нему. Видя все это болезненное, дающее мне мало надежд поведение, я тем не менее продолжал говорить, как если бы у меня была еще возможность своей речью, своими выгодными предложениями – я сам пугался уступок, на которые шел, хотя их никто не требовал, – все в конце концов привести в равновесие. Известное удовлетворение испытывал я и от того, что агент, как я мельком заметил, наконец оставил свою шляпу в покое и скрестил на груди руки; мои заявления, рассчитанные отчасти на него, нанесли, казалось, его планам чувствительный удар. И на радостях я бы, может быть, еще долго продолжал говорить, если бы сын, которым я до сих пор, как лицом для меня второстепенным, пренебрегал, вдруг не приподнялся с постели и не заставил меня, подняв кулак, замолчать. Он явно хотел еще что-то сказать, что-то показать, но у него не хватило сил. Я принял все это за лихорадочный бред, но вскоре, невольно взглянув на старика Н., понял, в чем дело.

Н. сидел с открытыми, остекленевшими, выпученными, только на миг еще зрячими глазами, наклонившись вперед и дрожа, словно кто-то держал его или бил по затылку, нижняя губа, да и вся нижняя челюсть с широко обнажившейся десной, непослушно отвисла, все лицо как-то распалось; он еще дышал, хотя и тяжело, но потом, как бы освободившись, откинулся к спинке кресла, закрыл глаза, на лице его еще мелькнуло выражение какого-то большого усилия, и затем все кончилось. Я подскочил к нему, схватил безжизненно повисшую, холодную, ужаснувшую меня руку; пульса не было. Итак, все. Кончено, старик. Нам бы умирать не тяжелее. Но сколько всего надо было сейчас сделать! И что в этой спешке прежде всего? Я огляделся, ища помощи, но сын натянул одеяло на голову, слышно было его бесконечное всхлипывание; агент, холодный, как лягушка, засел в своем кресле, в двух шагах напротив Н., явно решив ничего не делать, просто переждать; оставался, значит, я, только я, чтобы что-то сделать, а сейчас сделать самое трудное – каким-то сносным способом, то есть способом, которого не существовало на свете, оповестить жену. И уже я услышал старательные, шаркающие шаги из соседней комнаты.

Она принесла – все еще в уличной одежде, она еще не успела переодеться – согретую на печи ночную рубашку, которую хотела надеть сейчас на мужа.

– Он уснул, – сказала она, улыбнувшись и покачав головой, когда застала у нас такую тишину. И с бесконечной доверчивостью невинного она взяла ту же руку, которую я только что с отвращением и робостью держал в своей, поцеловала ее словно в маленькой брачной игре, и – каково нам троим было смотреть на это! – Н. пошевелился, громко зевнул, позволил надеть на себя рубашку, с досадливо-ироническим видом выслушал нежные упреки жены за переутомление во время слишком большой прогулки и, чтобы объяснить свою дремоту иначе, сказал, как ни странно, что-то насчет скуки. Затем, дабы не простудиться по дороге в другую комнату, он на время лег в постель к сыну; голова его была уложена у ног сына на две поспешно принесенные женою подушки. После того, что произошло раньше, я уже не нашел в этом ничего особенного. Затем он потребовал вечернюю газету, взял ее, не обращая внимания на гостей, но не читал, а только просматривал, говоря при этом с поразительной деловой пронизательностью довольно неприятные вещи о наших предложениях, непрестанно делая пренебрежительные движения свободной рукой и намекая щелканьем языка на скверный запах, который вызывает у него во рту наша манера вести дела. Агент не смог удержаться от того, чтобы не отпустить несколько неуместных замечаний, на свой грубый лад, он, видимо, даже чувствовал, что после случившегося все надо как-то уравновесить, но, конечно, его способ менее всего годился для этого. Я быстро простился, я был почти благодарен агенту; без его присутствия у меня не хватило бы решимости уже уйти.

В передней я еще встретил госпожу Н. При виде ее жалкой фигурки я сказал ей в задумчивости, что она немного напоминает мне мою мать. И поскольку она промолчала, я добавил:

– Что бы ни говорили по этому поводу, она могла творить чудеса. Все, что мы портили, она приводила в порядок. Я потерял ее еще в детстве.

Я нарочно говорил чрезмерно медленно и отчетливо, ибо полагал, что эта старая женщина туга на ухо. Но она была, по-видимому, глуха, ибо спросила без перехода:

– А внешний вид моего мужа?

По нескольким ее прощальным словам я, кстати сказать, понял, что она спутала меня с агентом; мне хотелось думать, что иначе она была бы доверчивее.

Затем я по лестнице сошел вниз. Спускаться оказалось труднее, чем прежде подниматься, а ведь и подъем-то не был легок. Ах, какие бывают неудачные деловые походы, а надо нести свое бремя дальше.

Комментарий (Не надейся!)

Было очень раннее утро, улицы были чисты и пустынно, я шел на вокзал. Свернув свои часы с башенными, я увидел, что время сейчас гораздо более позднее, чем я думал, мне нужно было очень спешить, ужас от этого открытия сделал меня неуверенным в пути, я еще неважно ориентировался в этом городе, к счастью, поблизости оказался полицейский, я подбежал к нему и, запыхавшись, спросил, как пройти на вокзал. Он улыбнулся и сказал:

– У меня ты хочешь узнать дорогу?

– Да, – сказал я, – потому что сам не могу найти ее.

– Не надейся, не надейся! – сказал он и размашисто отвернулся, как это делают люди, которые хотят быть наедине со своим смехом.

О притчах

Многие сетуют на то, что слова мудрецов – это каждый раз всего лишь притчи, но неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит: «Перейди туда», – он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каковой еще можно выполнить,

если результат стоит того, нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее и он не в силах и которое здесь нам, стало быть, ничем не может помочь. Все эти притчи только и означают, в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако, совсем над другим.

В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий».

Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча».

Первый сказал: «Ты выиграл».

Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче».

Первый сказал: «Нет, в действительности; в притче ты проиграл».